Кругами рая

Николай Крыщук

Роман «Кругами рая» можно назвать и лирическим, и философским, и гротесковым, но прежде всего это семейная история профессора филологии, его жены-художницы и их сына, преуспевающего интернет-журналиста. Почему любящие друг друга муж и жена вдруг обнаруживают, что стали чужими людьми, и обмениваются по утрам вежливыми записками? Как отец и сын, которые давно не общаются между собой, оказываются участниками любовного треугольника? Это роман об ускользающем счастье и не дающейся любви. Николай Крыщук удостоен за него премии «Студенческий Букер» 2009 года.

Николай Крыщук

КРУГАМИ РАЯ

РОМАН-КИНО В ДВУХ ЧАСТЯХ

ВРЕМЯ

Часть первая
Три доли

1

После окончания первого класса они поехали с отцом на море под Одессу, в поселок Санжейка. Мама осталась готовить картины к осенней выставке. Но Алеша знал, что на самом деле она боится бросить без присмотра новых детей, в которых влюбилась прямо-таки горячо.

На день рождения шумная, насквозь остроумная компания притащила ей столитровый напольный аквариум с розовой лягушкой и испуганно озирающимся аксолотлем. Мама пришла от этих уродов в восторг и тут же принялась целовать их.

Семья стала быстро пополняться. Были куплены еще две лягушки — желтая и оливково-зеленая, и еще один аксолотль. Шпорцевые лягушки были гладкие, с глазами на затылке, которые всегда смотрели вертикально и то ли приманчиво, то ли агрессивно поводили щупальцами. Передние лапки у них были без перепонок, и лягушки напоминали Алеше человеческих зародышей, которых он видел в отцовской энциклопедии. Что будет, если они начнут вдруг расти, выползут и однажды превратятся в больших жабообразных людей?

Аксолотль был похож на рыбу, но тоже с лапками, вроде тритона. Темно-зеленый, с бурыми пятнами, он любил уйти в глубину и слиться с водорослями, уклоняясь от знакомства. Всё это были какие-то промежуточные твари, и Алеша думал, что, может быть, его тело тоже временно и однажды ему предстоит превратиться в земноводное или летающее. Он бы, по правде сказать, предпочел летающее, если, конечно, это не летучая мышь.

Промежуточное состояние всех этих существ вскоре подтвердилось. Аксолотль вот-вот мог оборотиться ящерицей, для этого ему и была построена горка из камней. Несколько дней Алеша сторожил волшебный момент, но мама объяснила, что превращение произойдет через несколько лет, и то лишь в случае экстремальной ситуации. Алеше сразу стало скучно.

С утра мама, обычно растягивавшая сон, теперь тащила сына в Александро-Невскую лавру на заболоченный пруд. Они ловили сачками дафний и мотыля, чтобы ее любимцы не волновались от голода. Алеша ревновал маму к ее веселости и охальной любви (слово он услышал во дворе и сильный

смысл его чувствовал). Когда однажды она в очередной раз прилаживала капроновый чулок с мотылями в сливном бачке, он спросил:

— Мама, а мы сами есть будем?

— Так всё на кухне, — ответила та, не оборачиваясь — Посмотри, милый. Ты же взрослый!

Нет, определенно, своих латиносов она любила больше. «Взрослый» не произвело на Алешу никакого впечатления. Он давно знал наизусть все мелодии маминой речи. Эта означала: «Отстань, моя радость. Лети в жизнь сам».

С тех пор глаза мамы застлал огонь, перебегающий по поверхности белыми влажными точками, она никого вокруг не видела, только эти немые нахлебники возбуждали ее. Странно еще, что ночами мама уходила в свою постель, а не залезала к ним в аквариум. Отец останавливался над аквариумом и долго смотрел в него, пытаясь понять тайну маминой любви и сообразить, чего в нем самом не хватает — жабр, рыжины или этих вертикальных глаз?

Их поездка была похожа на бегство обиженных детей в Африку.

* * *

Дом, в котором они снимали комнату, отец называл «жертвой купеческой фантазии». Задумывался он с причудами и именно потому, вероятно, был обречен на вечное строительство. Отец, любивший обобщать, мог бы сказать что-нибудь вроде того, что мечтаем мы всегда не по средствам. Но он этого, кажется, не говорил.

Спали они вместе на огромной кровати, стоявшей посреди большой залы. Рядом с кроватью в кадке рос фикус. Его новые листья, свернутые трубочкой, скрывались еще в красных конусообразных кожушках.

Рамы в стене, сплошь стеклянной, отсырели после зимы, и сквозняк свивал на полу кратеры из цементной пыли. Днем там было жарко, а ночью холодно. Бетонные плиты на потолке уже чуть разошлись. Крыша, однако, была выложена розовой керамикой, дождя они не опасались. Между тем стоил этот бивуак во дворце дорого, вероятно, в счет проектируемых достоинств.

На коньке крыши деревянный аист лет пятнадцать уже смотрел на недостроенное гнездо. Второй этаж дома опоясывала галерея. Под домом — зацементированный гараж. Туда хозяин складывал арбузы, пока за ними не

приедут из города.

Прозвище у хозяина было «Айвазовский». Всё в округе — клуб, магазин, сарай, где ремонтировались баркасы, сельсовет и склад — он разрисовал портретами вождей, напряженными, но одновременно и радостными лицами тружеников бахчи и моря, а также, кстати и некстати, бирюзовой волной и парящими над ней альбатросами. За это и получил от начальства разрешение построить на берегу моря собственный коттедж.

Айвазовский, фантазировал Алеша, был похож на яичный желток: кругленький, юркий, цветущий и лысый.

Творческий азарт Айвазовского иссяк, да и рука уже несколько лет как стала сохнуть. Во всяком случае, он давно превратился в патриота собственного огорода, дачникам и проезжим отпускал дары природы по ценам, как говорили, непомерным. К тому же, не раз его ловили на обвешивании. Кроме этого, широта натуры Айвазовского и его художественное прошлое сказывались по большей части в разговорах.

— Стяжатель не может быть хорошим человеком, конечно, что вы говорите! — простодушно делился он. — Общение с природой так помогает. Я общаюсь с виноградом, я общаюсь с кукурузой, я общаюсь с помидором.

Собранные помидоры Айвазовский укладывал в валенки — там они лучше доходили.

Алеша выбрал самый крупный арбуз («Кавуниха!» — похвалил Айвазовский), и они с отцом пошли на море.

* * *

Курицы во дворах вели бои за мелкую хамсу, выпавшую при перегрузке утреннего улова. Цыплята оказывались обычно проворнее родителей.

— Ловко воруют, — сказал Алеша.

— Не воруют, а борются за существование. — Отец положил Алеше руку на голову. — А заметил, молодые уже отрабатывают осанку? Головкой чуть-чуть поводят, якобы от праздности, рассеянности и юного любопытства. А шея гордая.

— Папа, а курицы — гордые птицы?

— Да нет. Вздорные. И то чаще петухи. Но этого форсу и им ненадолго хватает. А когда топор почуют… Тут уж какая гордость! Некоторые, правда, перед смертью успевают взлететь. Но тренировка отсутствует. Нет, трусливая птица.

Над заборами свешивались сытые вишни и зеленые грецкие орехи. Орехам еще надо было стариться до поздней осени, чтобы стать съедобными. Но этого они с отцом уже не увидят.

— У дяди Толи Пронька чумкой заболела, — сказал Алеша. — Мы от нее можем заразиться?»

— Не думаю. Это же собачья чума. Она только для собак».

С соседней улицы прямо перед ними выплыла семья. Они встречались с ними каждое утро, хотя знакомы не были, поэтому только раскланялись и поздоровались тихо, как будто боялись разбудить деревню, вставшую часов за пять до них. Собственно, «выплыла» относилось только к женщине. Она уже сняла халат и была в купальнике, чтобы не терять зря солнце, прохладная и тяжелая, как кувшин с водой. Казалось, что ноги ее касаются земли только из вежливости. Она не хотела никого обижать и поэтому слегка погружала пальцы в пыль, хотя, конечно, могла тихо лететь над землей, ей самой пачкать ноги было совершенно не обязательно.

Рядом бегала девчонка, с ногами, которые вот-вот могли сломаться. Она отстукивала своими копытцами какой-то танец и была уже по шею в пыли. Отец ее, больше похожий на ночного сторожа, шел сзади и свирепо изучал дорогу. Он боялся пропустить драгоценный камень, об изобилии которых местные принимались рассказывать после первых трех стаканов молодого вина. Алеша стеснялся его глупости, а поэтому и со всей семьей поздоровался еще тише, чем отец.

* * *

В детстве Алексей был из тех мальчиков, которые не говорили спасибо. Слово это ни к чему не годилось, уже хотя бы потому, что все считали его обязательным. «Спасибо» дяде Гере, который водил его на самолет, и «спасибо» тете Зине с ее потной конфеткой требовало разных слов.

Для избыточного чувства «спасибо» было мало, если же дежурная конфетка, то он выставлял себя чувствительным дурачком, не понимающим, что конфетка только для того, чтобы «прелесть мальчик» поскорее удалился и не мешал разговаривать взрослым.

Он, конечно, уходил, но молча. Тетя Зина шептала маме: «Оставь, он стесняется. У мальчиков это бывает». Какого черта! Просто он не желает быть «изумительно вежливым».

Взрослых, которые при встрече восклицали: «Рад тебя

видеть!», он молча записывал в шпионы и удивлялся, как родители не догадываются, что те шпионы. Сам он никогда не был рад себе, с чего бы радоваться им? Всякая преувеличенность вызывала у него подозрение.

Взрослые вообще отличались уклончивостью, никто не умел быть искренним, и все у них при этом как-то обходилось. Ему даже казалось, что взрослые условились никогда не говорить того, что действительно думают, и подражали героям зарубежных фильмов.

«Как тебя зовут? — Тревис. — Хорошее имя». «Вы приехали поездом или автобусом? — Автобусом. — Пойдемте выпьем! — С удовольствием. — А вы забавный парень». «Ну как, нашел кого искал? — Не совсем». «У вас что-то случилось? — И да и нет». Крепясь изо всех сил, они смеялись, обменивались возбужденными и глухими репликами. Но кто-нибудь обязательно не выдерживал: «Он был для меня больше, чем отец», «Спасибо, ты спасла мне жизнь», «Дорогая…». От слова «дорогая», без которого не обходились даже убийцы, его начинало тошнить. К сожалению, буквально.

В пять лет он вынес миру приговор, оглашение которого было отложено, после чего почувствовал, что остался один. Скука превратилась в заслуженное одиночество, зато будущее неожиданно обрело смысл.

В один прекрасный день ему предстояло открыть людям правду. Это была его тайна, она придавала значительность каждому дню, с ней он просыпался и засыпал, а днем собирал улики взрослого притворства. Не подозревая об этом, они то и дело ошибались, забывая про роль.

Алексей плохо помнил лица, имея дело с некими существами, которые образовались из сложного сочетания носов, галстуков, запахов, взглядов, словечек, голосов, шляп, прозвищ. Перемена любой из составляющих могла сбить с толку. Мама замечала в нем заторможенность.

Достаточно было Екатерине Осиповне прийти без мужа, и не вечером, а утром, и без твердых, как грибы, завитков на голове, чтобы он не узнал ее. Эта женщина была не похожа на высокую, с продолговатым животиком букву Е.

Его она не заметила, хотя обычно вскрикивала еще в дверях, присаживалась и начинала петь голосом кошки. С папой Екатерина Осиповна говорила голосом, которым просят показать фокус: «Григорий Михайлович, ну я вас прошу…» Иногда голосом доктора, когда закрывала рюмку ладонью: «Вы себя губите». Эта была старушкой и говорила

почти неслышно, секретным голосом для телефона.

Глаза, правда, ему показались знакомыми. Они были похожи на яркий, серый день, он даже пытался представить иногда, как же Екатерина Осиповна спит с открытыми глазами? Представить, что они когда-нибудь закрываются, было невозможно.

Он решил проверить. Сейчас был как раз такой момент. Екатерина Осиповна не умела сама развязывать шнурки на туфлях. Это была обязанность ее мужа, Карасика. Приходя, тот всегда начинал страшно хохотать и приговаривать: «Но не до побудки, не до побудки!» Потом присаживался к шнуркам жены. А уходя, тоже за шнурками: «Значит, мы вас ждем часиков в девятнадцать».

Но Карасика не было, а мама сказала Екатерине Осиповне, чтобы она проходила так.

— Кто это? — спросил Алеша, когда за гостьей закрылась дверь.

— Это Екатерина Осиповна. Ты не узнал? У нее умер муж.

Карасика ему было жалко. Больше он к ним не придет, и они не будут играть в шашки на вышибалы. А Екатерину Осиповну жалко не было. Она давно уже призналась маме, что «Карасик не мужчина, а чучело с погонами». Он ей нужен был только для того, чтобы снимать и обувать туфли.

Теперь-то Алеша вспомнил ее. Разговаривая с мамой, Екатерина Осиповна, как всегда, стала трогать мочку уха и:

— Ой, клипсы забыла.

Она их не забыла, она их специально забыла, чтобы все увидели, что забыла. Это же понятно. Так нужно было для горя. Как он сразу-то просмотрел эту ее манеру — трогать мочку.

В Новый год Екатерина Осиповна пришла к ним уже с другим мужем. Платье обтягивало ее, как чулок, и она снова была похожа на прописную букву Е с брюшком. Она теребила ухо, снимала клипсу и клала ее рядом с собой. И снова просила папу показать фокус. Со шнурками тоже было улажено. Нового мужа звали Тарасик.

С детством, в сущности, было покончено. Ведь богатырь-младенец, поднимающий пальцем гирю, уже не совсем младенец. Он не мог объяснить причины своей проницательности, да и не знал пока, к чему ее применить. Люди были похожи на свои имена, домашние животные — на хозяев, вещи умели притворяться, у голоса был цвет. Все было как-то связано между собой, все жмурилось,

подмигивало, обманывало, переодевалось и было при этом не прочь, чтобы его узнали. Он первым об этом догадался. Даже не он, кто-то другой, в нем поселившийся. Это был дар. А дар все же не своя ноша, он тянет.

Никому Алеша про это не рассказывал. Сейчас с отцом он невольно становился глупее себя, с удовольствием ему подыгрывал, отдыхал. Они оба отдыхали.

К морю надо было спускаться. Издалека оно казалось плоским, и за ним сразу начиналось небо; белое, вспухшее, оно как будто наваливалось на море и переливалось в него своим светом. Там, по этому ослепительному валу, не касаясь воды, плыл кораблик. Алеша запрыгал, показывая на него пальцем.

— Точно, — подтвердил отец. — Сегодня штиль. Видишь? Ни одного барашка.

Он что-то добавил еще про мнимый горизонт, который появляется в такую вот тихую погоду, но Алеша не понял. Отец снял рубаху, вскинул голову и стал похож на аиста, оглядывающего восхищенно свое недостроенное и все же прекрасное гнездо. Он потянулся сильно, с хрустом, как будто только сейчас проснулся, и продекламировал:

— Остановись, мгновенье! Ты мне нравишься!

Алеша понимал, что отец повторяет чьи-то слова, то ли восхищаясь ими, то ли над ними подсмеиваясь, — обычная его манера. Он всегда находился в товарищеских отношениях с теми, кто давно умер. Судя по тому, как нюхал отец своим длинным носом морской воздух с запахом гнилой рыбы и, сняв очки, жмурился, разговор с очередным классиком был еще не закончен.

— Так сказал бы Фауст, если бы он был одесситом. — Отец посмотрел на сына и добавил: — Гете мы с тобой еще не проходили. Побежали?»

Они бросились к морю по крутому спуску, призывая на себя ветер. И воздух, наводивший дурь запахами рыбацких сетей, полыни, коровьих лепешек, акации и нагретой смолы, теперь пах только морем, далеким морем, а не тем, которое холодным приливом сбивает к берегу черных бычков, так что их можно ловить руками.

Подходя к безлюдному пляжу, они стали гадать, с какими насекомыми им предстоит делить жизнь сегодня. Это население прибрежной полосы каждый день менялось, какая-то у них все время происходила миграция, а может быть, даже одна цивилизация сменялась другой. Позавчера здесь были зеленые мушки. Они светились и гасли вместе с

солнцем, но крылышки их оставались всегда пасмурными. Вчера бесшумно облепляли тело мошки прозрачные, как вода. Их они не убивали, а смахивали, спасаясь от щекотки.

— Значит, сегодня черные, — предположил Алеша.

— Посмотрим, посмотрим, — ответил отец. — А вдруг сегодня нас посетят пришельцы из Тавокадо?

— Тавокадо — это ведь фрукт, — сказал Алексей.

— Фрукт называется авокадо, в переводе — аллигаторова груша.

— А Тавокадо?

— Этого я пока не знаю, — загадочно произнес отец.

Как только они устроились на песке, на одеяло стали наползать муравьи, а в воздухе зароилась шарами невесомая пепельная мошка.

— Не угадали, — сказал отец.

— А эти откуда?

— Я думаю, местные.

* * *

Одурев от купания, они принялись за арбуз. Арбуз был на самом излете: в сердцевине его образовались уже сухие сахаристые обвалы. Алеша погружал в арбузную мякоть все лицо, как только что в море, когда ловил бегающих по дну рачков, потом отводил ломоть в сторону и оглядывался. Время от времени он говорил отцу:

— Солнце уже перешло. Давай сдвинемся».

Отец тоже не любил сидеть без дела. Они обследовали прибрежные норы, вымыли в море яблоки, успевшие обваляться в песке, и сели играть в дурака. Отец опередил его просьбу:

— Доставай свои портянки. Сдавай. Бессмысленное ты существо! Ну как, вкусно?

— Кожура соленая.

— Не очень товарный фрукт, верно. А вот дома расскажешь маме, что мы на море ели яблоки с соленой кожурой, увидишь, как она будет восхищаться и завидовать!»

— Почему это?

Отец помолчал, раскладывая веером карты и что-то напевая. Потом сказал:

— Не знаю. Сила искусства.

Играя, отец всегда что-нибудь напевал. В этот раз он пел: «Вы скажете, бывают в жизни шутки…» Задумывался, кидал на одеяло карту и снова: «Вы скажете, бывают в жизни

шутки…» Текст дальше он, похоже, забыл. А поэтому, когда партия заканчивалась и начиналась новая сдача, переходил сразу к тому, что помнил: «И будет шум и гам, и будет счет деньгам, и дождички пойдут по чет-вер-гам!».

— Пап, у тебя животик похож на сумку с дыней, — говорил добрый Алеша.

— Не дерзи! Плохие дяди за такую наблюдательность могут уши надрать.

— Ну надери, надери попробуй!

Отец отвечал медленно, с наигранным равнодушием и длинными паузами, по привычке преферансиста складывая в ладонях карты масть к масти.

— Я пока еще хороший дядя. Пока ты не довел меня до исступления. И не заставил совершать безобразные поступки. Тогда я стану решительным и беспощадным, прожорливым и мстительным. Помню, однажды верблюд задумал совершить в меня свой мерзкий плевок. Я сразу разгадал его замысел по нервному движению кадыка. Я сказал ему: «Минуточку!» Я замотал его пасть изоляционной лентой, так что скоро он даже хрюкать не мог. На закате верблюд стал просить у меня прощения, вилял своими пустыми горбами и смотрел в небо выпуклыми синими глазами индуса. Но я был непреклонен. Дождавшись, когда угли на костре стали из белых красными, я освежевал тело скверного, опозорившего свой род животного, зажарил и съел его.

— Врешь! Целиком?

— Не вру, а сочиняю. А ты зачем-то подстрелил мою фантазию своим скепсисом. То есть поступил невежливо. Тебе второй неуд. Дальше начнется временное поражение в правах. Ты походишь наконец?

— У меня одна масть. Надо пересдать!

— Собачья чумка нам не касается, — пропел отец.

Потом, отбиваясь, он всякий раз приговаривал:

— Чумка бывает разная. Вот легочная. Король. Желудочная. Дама. Нервно-паралитическая. Снова дама. А эту карту бить не надо. Я тебе ее просто дарю.

И он выложил перед Алешей козырного туза.

Снова купались. Отец делал сцепку руками, Алеша вставал на нее и на счет «три», выталкиваемый отцом, катапультировался. Вода попадала и в рот, и в нос, он долго откашливался и сморкался. Отец хохотал:

— Ах, как ты плавно вошел животом! Загляденье! И ноги такой изящной раскорякой пустил. Знаешь, мне показалось, что это небесная бабушка небесному ребеночку козу делает.

— Иди! — кричал огорченный Алеша, тоже не в силах, однако, удержаться от смеха. — Кидать надо по счету, а не когда попало!

— Ладно, ладно. Хватит уже сморкаться! А то хочешь, я на берег за платочком сбегаю?

— Обойдусь!

— Вот это правильно. Никаких одолжений от врага. Следующий раз мы прищепку у тети Лиды попросим. Нос — наш фамильный, как-никак, знак. Знак, как-никак! — повторил он.

Через минуту Алеша снова взбирался на отца.

* * *

На берегу отец сообщил:

— Ухожу спать. Остальным разрешается чтение с бутербродами».

Спать не хотелось. Метрах в пятидесяти та самая незнакомая семья строила из песка замок. Строила в основном женщина. Теперь ей уже не нужно было притворяться, и она летала туда-сюда, не касаясь песка. Девчонка с пластмассовыми желтыми кружками бегала к морю и поливала замок. Алеша лег щекой на одеяло и некоторое время так наблюдал за строительством.

Замок казался выросшим посреди барханов. Солнце над ним и вовсе было настоящее.

Алеша чувствовал, как солнце натрудилось за день и все ему надоело. Сейчас оно меняло цвета: из белого становилось синим, потом, на мгновенье, черным, снова белым, снова синим. А все вокруг от его усталости стало серым, вымоченным в хлорке.

Вечером волна смоет замок, а солнце снова уйдет в другие страны, чтобы заново посмотреть на тамошних людей — что у них за ночь переменилось? Стонов и мольбы о пощаде жителей замка оно не услышит, и те исчезнут навсегда. Как будто и не жили. Зачем только были все их шпаги, манжеты, графы и графини, графины с вином и золотые постели? Зачем сражались, танцевали, объедались и пели под луной серенады?

* * *

Алеша не заметил, как уснул. Когда он проснулся, отец еще спал. Пепельная мошка покрыла его тело; только по

перемигиванию слабых огоньков можно было догадаться, что покрывало шевелится и живое. Муравьи протаранивали в нем свои дороги.

Губы отца улыбались, как у сфинксов. Алеше так захотелось узнать: чему отец сейчас улыбается? Сухой тростинкой он провел по его руке. Мошкара даже не взлетела, не испугалась. Нет, ну устроились, как на камне!

Алешка схватил пляжную кепочку и побежал к морю. Сейчас. Он набрал в кепку воды, зажал ее по краям и направился обратно. Надо быстрее, кепка протекает, воды остается уже чуть-чуть. Алеша напрягся и сморщился, как будто мог таким образом задержать в кепке воду, споткнулся и едва не *упал.* Он взглянул на отца, уже прицеливаясь в него своим подарком, и вдруг резко остановился. На лице отца не было улыбки. Оно все оплыло к подбородку, оставив незащищенным только летящий нос. Но и тот остановился, как будто ударился обо что-то.

Пепельная мошка устраивала на веках отца возню. Но сам отец был мертв.

— Па-па! — закричал Алешка, откинув кепку в сторону и не двигаясь с места. — Папа! — снова крикнул он голосом, о существовании в себе которого не подозревал.

Отец вскочил, одной рукой нащупывая очки, другой смахивая с лица мошкару. Потом, не найдя очков, со слепыми глазами протянул обе руки к сыну и быстро, отчаянно, как бы в припадке, заговорил:

— Ах эта Василиса, хромонога несчастная, опять наелась мухоморов, оставила-покинула — подкинула, забыла-проспала-заспала, проморгала-просрочила-заговорила бедное королевское дитя, если говорить серьезно, несчастная вы нянька, то вообще мы вас не только что, а, как бы это сказать, само собой разумеется, хотя это и не разумеется, а всякий раз ты воспользовалась тем, что у меня легкое сердце и предсмертная астма, от которой так легко дышится, что дальше уже получается и некуда…

— Папа, папа! Ты что?

Испуг в Алешке стал еще сильнее, как будто сумасшедший отец был страшнее отца мертвого. Он отбежал от его протянутых рук. Тот наконец нашел очки, и сразу вместе с ними знакомая сыну ласковая озабоченность вернулась на его лицо.

— Ну ты что, что, миленький? Прости, это я тебя напугал.

Алеша сел рядом и заплакал.

— Ты чего испугался?

— Мне показалось, что ты умер.

— Вот неприятность какая! Но это бывает, знаешь, бывает. Но я же еще не умер? — отец продолжал стряхивать с себя мошку. — Сколько ее налетело, а?

— Она на всем тебе была. А ты не слышал.

— Вот ведь какие дела, надо же!

* * *

На обратном пути они оба молчали. Куры во дворах выклевывали из пыли рыбную шелуху. Отец, старый, шел чуть отставая. Алеша все время оборачивался и протягивал ему руку.

— Иди, иди, сынок. Я сзади, чтобы на тебя не напылить.

У отца порвался ремешок на сандалии, сандалия убегала вперед, он догонял ее, пришлепывал ступней и волочил дальше. Лицо его, потемневшее на солнце, обежали морщины, а глаза стали светло-ясными и растерянными. Так случалось всегда, когда у него болело сердце.

— Сердце? — спросил Алеша.

— Нет. Дышать тяжело. Давай сделаем крюк мимо маяка.

Они пошли по высокому берегу, где был ветер. Трава и здесь была сухой и пыльной, но море все же доносило свою свежесть, может быть, потому, что теперь они шли не спиной к нему, и дышалось легче.

Все, как нарочно, напоминало о смерти. Алеша чуть не споткнулся о лошадиный череп — он лежал прямо на тропинке, глядел в небо, и гудел, и посвистывал, как маленький дырявый орган. Буквально через несколько метров попалась на их пути мертвая чайка, заломившая за спину крыло для бреющего полета. Мушиные ангелы в черных и палевых фрачках подробно ощупывали и обнюхивали ее. «Смерть — это бесцеремонность», решил тогда Алеша. Ему вспомнились муравьи и мошка, как они хозяйничали на лице у отца.

В кустах под некогда оранжевым трактором, который пережил здесь уже не одну зиму, выпивали мужчина и женщина. Мухи слетелись на еду, было их много. Женщина отмахивалась от них и при этом непрерывно говорила.

Голос у нее был грубый и в то же время жалостливый:

— Костюк, у меня мама умерла, ничего от нее не осталось. Только собака. Я ее никому не отдам, я ее выхожу. А и какого щенка родит, я его тоже вытяну. Ведь они продолжение моей мамы.

Алеша с отцом обошли трактор и кусты и уже за спиной снова услышали голос женщины. Он продолжал говорить о смерти. Такая у них у всех сегодня получалась тема:

— Костюк! Ты помнишь нашу яхту? Мы ведь ее похоронили…

Маяк еще не работал. Его стройное тело, покрытое мелом, солнце выбрало из всего окружающего для своего отдыха и разошлось по нему ровным розовым светом. Здание было огромным, в нем, наверное, можно было жить. Но домик маячника стоял в стороне. А сам маяк был одинок, как церковная колокольня. На медной пластине, которая была вмурована в стену, они прочитали надпись: «Маяки — святыни морей. Они принадлежат всем и неприкосновенны, как святыни морей».

— Хотел бы я быть маяком, — задумчиво сказал отец.

Алеше понравилось, как отец это сказал.

— Я тоже, — сказал он. В соединении того, что ты принадлежишь всем и при этом неприкосновенен, было что-то от волшебного заклинания, оберегающего от всех напастей, может быть, даже от смерти, и в то же время делающего тебя счастливым и желанным.

— Значит, мы не знакомы, — сказал вдруг отец и решительно пошел прочь. Алеша побежал следом.

— Мы знакомы, — крикнул Алеша и попытался вложить свою ладонь в равнодушную почему-то руку отца. — Еще как!

— Нет, мы не знакомы. Маяки не ходят друг к другу в гости, не заводят на свою голову детей и вообще даже не подозревают о существовании друг друга. Посторонитесь, существо! Не загораживайте мой свет!

Отец пошел гордо, размашистым шагом, безупречный и довольный собой. Но он забыл о сандалии, и та, соскользнув, улетела вперед метров на десять. Алешка, хохоча, бросился за сандалией.

— Привет, существо, — сказал он. — Вот ваш сандалий!

— О, как это мило с вашей стороны, — отец с поклоном принял находку. — Спасибо, дорогой друг. Я давно ищу эту драгоценную сандалию, потерянную еще во времена жестокого разгрома янычарского корпуса, который учинил султан наш, Махмуд Второй. Нас, янычар, уничтожили тогда почти поголовно. Все из-за зависти плебса, крохотуля. Что скрывать, мы, конечно, любили кровавые шутки и беззаконные гулянья, но мы были настоящими воинами. Армия же новобранцев не смогла справиться после этого с

Россией, и та присоединила к себе лучшие земли на берегах вот этого Черного моря. А я в очередной раз, переодевшись ремесленником, бежал и так и слонялся по белу свету без этой драгоценной сандалии. Обувь, между тем, превосходная, — отец перешел на быстрый шепот, каким говорят торговцы в Ильичевске, пытаясь всучить товар: — Эти сандалии изготовляли греки на местной своей греческой фабрике «Скороход», — он ткнул пальцем в нестираемый фабричный штамп. — Сюда смотри! — Снова янычарским голосом: — Хотя греков мы били и даже немного притесняли. — Теперь опять вежливым иностранцем: — Вы бывали у нас в Турции?

— Да, — попытался поддержать Алешка игру, — и пили у вас кофе по-турецки.

— Лгун! — закричал отец. — В Турции никто не пьет кофе по-турецки. Все это выдумки кофейной мафии, которая отравляет мир пойлом, заваренным углями и песком, называя его бесстыдно «кофе по-турецки». Турки пьют темный чай из вазочек, таких изящных вазочек, знаете, в которых женская талия одновременно как бы и женская шейка. И заедают чай самсой, что по-турецки будет лагман.

Алеша привык к этим перевоплощениям отца и всякий раз любовался им.

— Ну, вот, наговорил с три короба, самому есть захотелось. Айда?

* * *

Тетя Лида, жена Айвазовского, была похожа на фарфоровую Аленушку у пруда, которая пролежала свою молодость в родовом сундуке. Глаза ее всегда смотрели в пруд, в котором предстояло их хозяйке в каком-то отдаленном будущем утопиться. Но будущее не торопилось навстречу тете Лиде, и глаза ее от долгого внимания выцвели, а взгляд стал рассеянным. Иностранная краска для волос была дорогой, да и в дефиците, приходилось краситься всякой дрянью, поэтому даже и первоначальный цвет волос на голове тети Лиды оставался ее женской тайной. Но растрепаны волосы были всегда, потому что в ожидании грядущего утопления тетя Лида регулярно мылась в душе.

Сегодня Алеша с отцом были приглашены на ужин к хозяевам. Отец был единственным собеседником, с которым в этой дыре Айвазовский мог культурно пообщаться. Пришлось для общего застолья пожертвовать палкой

сервелата (обычно ее хватало на неделю).

Домашнее вино Михаил Степанович разливал в фужеры с серебряными вензелями неизвестного происхождения.

Он уверял, что из столовой графа Шувалова, хотя Алеша ясно разглядел подбоченившуюся букву «Ф» с узким морским флажком наверху.

— Молодому человеку?» — спросил Айвазовский.

— Немного, — согласился отец, — на случай атомной войны».

От вина язык стал шершавым, и Алеша принялся заедать оскомину помидором — огромным и сине-багровым, как небо перед грозой. Михаил Степанович очень гордился этим сортом, который назывался «черный принц». Как всегда, он рассказывал про свое духовное общение с огородом:

«Человек, вырастивший хоть одну гронку винограда, не может быть плохим человеком, — говорил Айвазовский, опуская в вино кусочек колотого сахара. — В эту гронку столько труда вложено… А как благодарит природа, когда о ней заботишься, как благодарит!»

Они сидели на веранде, обтянутой марлей, которая то прогибалась в их сторону от ветра, то отпрядывала назад.

— Это моя Лидуся рукодельничала, — почти взвизгнул вдруг Михаил Степанович. — Хорошо, с ветерком. А и без насекомых.

— Говном, правда, все равно с дороги тянет, — сказала тетя Лида рассеянно и даже как будто мечтательно. — Есть и в пасторали свои недостатки. Я права, Григорий Михайлович?»

— За одним исключением. В вас, дорогая Лидия Сергеевна, несмотря на свой скверный педантизм, изъянов обнаружить не могу». — Отец поцеловал руку тете Лиде.

«Господи! Какая гадость! — подумал Алеша. — Она же рыбой пахнет!»

Тетя Лида как раз заканчивала управляться с копченым бычком, посасывала жирный лоскуток спинной шкурки. В ее жирных губах отражался телевизионный экран.

Телевизор работал без звука. Там шли новости.

— Не люблю политики, — сказал Айвазовский. — Провинциальный театр. Они все знают, что надо делать, и не знают как. А я, представьте, знаю. Любой человек с трезвым умом знает.

— Ну как ты, например, будешь бороться с нашей бюрократией? — спросила тетя Лида. — Собственной кровью политые овощи и те без их бумажки на базар не пускают.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.